

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2017.5.08

Правильная ссылка на статью:

Антоновский А. Ю., Бараш Р.Э. «Истина» и «власть» как категории социальной философии // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2017. № 5. С. 120—134. DOI: 10.14515/monitoring.2017.5.08.

For citation:

Antonovskiy A. Yu., Barash R. Ed. «Truth» and «authority» as categories of social philosophy. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 2017. № 5. P. 120—134. DOI: 10.14515/monitoring.2017.5.08.

А. Ю. Антоновский, Р. Э. Бараш

«ИСТИНА» И «ВЛАСТЬ» КАК КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

«ИСТИНА» И «ВЛАСТЬ» КАК КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

*АНТОНОВСКИЙ Александр Юрьевич — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Сектора социальной эпистемологии, Институт философии Российской академии наук, доцент кафедры социальной философии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия.
E-MAIL: antonovski@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4209-8213*

*БАРАШ Раиса Эдуардовна — кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия.
E-MAIL: raisabarash@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5899-973X*

«TRUTH» AND «AUTHORITY» AS CATEGORIES OF SOCIAL PHILOSOPHY

*Alexander Yu. ANTONOVSKIY¹ — Dr. Sci (Philos.), Leading Research Fellow
E-MAIL: antonovski@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4209-8213*

*Raisa Ed. BARASH² — Cand. Sci (Polit.), Senior Research Fellow
E-MAIL: raisabarash@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5899-973X*

¹ Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² Center for Complex Social Studies, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Аннотация. Рассматривается процесс взаимообособления политики (коллективных обязательных норм, нормативных ожиданий, принуждающих к соответствующим действиям) и науки (области когнитивных ожиданий, зависящих от столь же обязательных внутренних, но универсально разделяемых, так называемых intersubjective убеждений). Особое внимание уделяется специфике взаимообусловленности логики развития политической и научных сфер в рамках российской действительности. Исследуя предпосылки утверждения единственной инстанции утверждения истины и коллективно-обязательных решений в терминах теории коммуникации авторы рассуждают о существовании двух самостоятельных типов общения, или коммуникации: ориентированного на представителей власти и ориентированного на личные убеждения. Обращаясь к универсальным медиальным функциям, выделенным Н. Луманом для характеристики не только науки, но и иных социальных систем, авторы характеризуют состояние российской науки.

Ключевые слова: истина, власть, наука, коммуникация, системно-коммуникативный подход, социальная наука

Благодарность. Статья написана при поддержке грантов РФФИ № 17-03-00733 «Системно-коммуникативный подход Н. Лумана в приложении к Российскому обществу» и № 15-03-00872 «Языковые универсалии в построении картины мира человека».

Abstract. The paper highlights the mutual isolation between politics (collective imperatives, normative expectations that force to take action) and science (area of cognitive expectations dependent on similarly imperative internal, though universally shared, intersubjective convictions).

Particular attention is paid to the specifics of the interdependence between political development and science in Russia. The authors investigate prerequisites for the affirmation of the only-truth instance from the perspective of communication theory and discuss two independent types of communication: the one oriented towards the views of public authorities and the one oriented towards personal beliefs. Applying Luhmann's universally acceptable concepts describing science and social systems, the authors provide an analysis of the current state of the Russian science.

Keywords: truth, authority, science, communication, system-based communication approach, social science

Acknowledgment. The paper is supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under grant no. 17-03-00733 «N. Luhmann systems-based approach applied to the Russian society» and grant no. 15-03-00872 «Language universals in constructing a world view».

Вопрос об утверждении когнитивных ориентиров и коллективно-обязательных решений как двух ключевых предпосылок социального действия приводит к признанию факта существования двух самостоятельных типов общения, или коммуникации. Первый тип коммуникации ориентирован исключительно на представителей власти: подчиненный выполняет распоряжение, следует действиям, принятым вышестоящим властным уровнем (*убеждения не должны играть никакой роли в выполнении вышеизданного распоряжения*). Другой тип коммуникации ориентирован на личные (столь же обязательные) убеждения, которые зависят не от действий (решений), но исключительно от общезначимых переживаний.

Научная (социальная или политическая) теория может выступить в роли «свободно парящего» наблюдателя («интеллигенция» в интерпретации К. Маннгейма), поскольку у нее обнаруживается некая привилегированная позиция наблюдения. Она видит больше, чем политики, ангажированные собственными коммуникативными медиа — власти. Но в этом случае требуется разрешить *практический парадокс*, связанный с вопросом о провозглашаемом наблюдательном приоритете науки и ответить на вопрос, как наука может претендовать на приоритетное право в утверждении своих исключительных взглядов и наблюдений, если она представляет собой сообщество среди прочих равных, ценности которого («этнос науки» в категориях Р. Мертона) как раз и утверждают такое равенство. Утверждать свой наблюдательный приоритет означает утверждать преимущества и прерогативы собственных членов, что противоречит демократическим убеждениям самого научного сообщества.

Истина и власть — теоретическая перспектива

Рассуждения о влиянии власти на интерпретацию категории «истина» необходимо начать с тезиса о том, что социально-философская теория, чтобы оставаться и *социальной*, и *философской*, должна учитывать две референции — *власть* и *истину*. Другими словами, социальная философия, обращаясь к *механизмам власти*, эксплицирует средства интеграции сообществ. При этом социальная философия обращается и к методологически достоверяемой истине и таким (самореферентным) образом рефлексирует некоторые собственные свойства: способности научного сообщества осуществлять и подтверждать свои наблюдения. В этом смысле истина и власть в каком-то смысле выступают функциональными эквивалентами, то есть выполняют одну и ту же задачу «единения», социальной интеграции, обеспечивают единство коммуникации в сфере собственного дискурса, но делают это разными способами: истина обеспечивает *единодушие*, власть обеспечивает *единодействие*.

Чтобы обосновать этот тезис, необходимо рассмотреть его в «генетической перспективе», то есть с точки зрения генезиса истины и власти как особого рода мотиваторов и одновременно абстрактных символов соответствующих типов коммуникации — научной и политической. Для реализации данной задачи следует опираться в первую очередь на идеи немецкого социолога Никласа Лумана [Луман, 2016].

Генезис истины как символа коммуникации

В теоретическом смысле символ истины является «двусторонней формой», то есть имеет две разнокачественные и, что очень важно, *асимметричные* стороны.

О позитивной стороне символа истины говорят, когда предложение (или теория) характеризуется как истинное (но не обязательно соответствующее какой-то внешней реальности, как это утверждается в различных теориях корреспонденции, ведь объекты математики не находятся вне математики, впрочем, как и другие теоретические объекты). Но и ложность, как негативная или «другая сторона» истинности, в практике ученого не менее важна, поскольку *лимитирует* круг истинных суждений и запрещает многие исследовательские ходы, и значит — оптимизирует научное исследование. *Симметричность* данных сторон связана с тем, что отрицание ложности означает истинность, и наоборот.

Необходимо задаться вопросом и о *генезисе этой симметрии*. То есть о том, всегда ли она существовала или, может быть, такого рода двусторонняя форма возникает вместе с появлением современной научной практики, а в традиционном обществе эти две стороны обладали известной *самостоятельностью*? Исторический анализ предполагает обращение к религиозным формам оценки и регуляции коммуникации, например, к примитивным формам религии: практикам табу, гаданий и предсказаний [Lloyd, 1979; Détienne, 1979; Elkana, 1986: 344—374]. В этом смысле некоторые исследователи указывают на древнюю *асимметричность* двух центральных ценностей традиционного общества: когда, с одной стороны, в рамках некоторого локального сообщества существовали нормативные запреты на «неправду», а с другой — когда имели место «запреты» на *забывание* некой важной для сообщества информации. В первом случае речь идет о *запрете на высказывания* (неправды), что защищало и интегрировало достаточно хрупкое традиционное племенное сообщество. Во втором случае речь шла не о высказываниях, но скорее о *переживаниях сознания*, которому запрещалось что-то забывать, что (обычно с помощью разного рода ритмизации, речитативов, рапсодизации) делало возможным поддержание и постоянное воспроизводство родоплеменной морали, родовой истории, мифонаративов, то есть некоего идеологического оправдания наличной социальной структуры. Оба запрета (или лучше сказать — института коммуникации), очевидно, цементировали сообщество, но делали это *независимо друг от друга*.

Истина — традиционное и современное понимание

На этой асимметрии во многом основывалось и традиционное понимание истины, которое дожило до наших дней: ложь (обман) имеет социальные корни, будучи обусловлена социальными факторами (интересом, идеологическими заблуждениями, структурами всегда неточного повседневного языка и т. д.). В этом смысле ложь оказывается соразмерна *социальному действию*. Истина же, напротив, как бы естественна, поскольку соразмерна не действию, но сознанию, способному переживать природу так, как она существует сама по себе, и предлагать его для освоения социальному действию и обсуждению в коммуникации.

Собственно, современное понимание истины возникает еще в античности как регулятив, который постулирует себя как нечто принципиально *асоциальное*. О чем высказывание: «Платон мне друг, но истина дороже»? О том, что *личное переживание* или убеждение, опосредующее истину, важнее *социальных связей*, а поэтому не должно фабриковаться (то есть изготавливаться) под интерактив-

ным давлением и, как следствие, должно генерироваться индивидуально. Это очевидно противоречит первоначальному смыслу понимания истины как *aletheia* (несокрытость), подразумевавшему нормативный, то есть соразмерный высказыванию, а не переживанию, *запрет на забвение*, и, следовательно, ее постоянное ритмизированное проговаривание в коммуникации.

Эти два (восходящих к древним практикам табу) негативных норматива: запрет на неправду и запрет на забвение, — уже в нашей современности словно объединяются в виде *единой* формы с *двумя сторонами* «одной медали»¹. В этом метафорическом смысле и констатация ложности, проверка, верификация, и фальсификация срабатывают как триггер, придающий исследованиям и научному познанию новые импульсы и стимулы [Elkana, 1986: 344—374; D tienne, 1967].

Когнитивное и нормативное отношение к реальности

Вместе с превращением двух самостоятельных запретов в единую форму и обособлением истины как самостоятельного, асоциального мотиватора трансформируются реакции людей на разочарование в своих ожиданиях. Другими словами, из двух нормативных требований-запретов, прежде самостоятельно обеспечивавших интеграцию сообществ, появляется когнитивная ориентация «все подвергай сомнению», «ищи ложное, чтобы утвердить истину», что очевидно провоцирует разногласия. *Когнитивные ожидания* отделяются от *нормативных* (политико-правовых), и истинность (прежде, как и запрет на забвение, имевшая своей функцией воспроизводство значимых содержаний коммуникации) превращается из коллективной в некую индивидуальную практику и уже не гарантирует консенсуса². Таким образом, *когнитивное отношение к реальности* обособляется от *нормативного*.

Но что такое когнитивные ожидания? О *когнитивных ожиданиях* говорят в случаях, если какие-то укоренившиеся представления, неожиданно сталкиваясь с противоречащим им событием или фактом и, соответственно, разочарованием в наших ожиданиях от реальности, не приводят (по крайней мере, *тотчас*) к отклонению самого разочаровывающего факта или события. Напротив, под вопрос ставятся согласующиеся с данным фактом нормы, то есть те или иные генерализации, обобщения, законы. Это прямо противоположно *нормативным ожиданиям* от реальности [Луман, 2016: 143—150], требующим в случае нарушения нормы ее моментального восстановления вопреки всем противоречащим ей фактам или событиям. Причем само это прегрешение против нормы в силу вызванного общественного резонанса и всеобщего возмущения этим обстоятельством только укрепляет данную норму³.

Мы можем еще раз сформулировать ту же проблему в других категориях, задавшись вопросом о том, как возникает взаимообособление области политики

¹ Здесь можно использовать биологические метафоры разного рода симбиозов. Так, например, первоклетка когда-то объединилась с митохондрией, которая «поставляет» в ее распоряжение энергию. И ложь (например, как отыскание заблуждений в конкурирующих концепциях), становясь другой стороной истины, мотивирует и придает новые импульсы («энергию») научному исследованию.

² Так, «различение истинное/ложное и консенсус/конфликт расцепляются друг с другом и продолжают отдельное существование — так, что все четыре комбинации оказываются социально-возможными» — пишет Никлас Луман [Луман, 2016: 166].

³ Здесь без труда угадывается дюркгеймова дистинкция репрессивного/реститутивного типов права.

(коллективных обязательных норм, нормативных ожиданий, принуждающих к соответствующим действиям) и области науки (когнитивных ожиданий, зависящих от столь же обязательных внутренних, но универсально разделяемых, так называемых интерсубъективных убеждений). В терминах теории коммуникации это требует ответа на вопрос о том, как из недифференцированного общества, где одна инстанция (властитель) одновременно имеет приоритет в утверждении и истины, и коллективно-обязательных решений, возникает два самостоятельных типа общения. Первый тип ориентирован исключительно на иерархию властей: подчиненный выполняет распоряжение, следует действиям, принятым вышестоящим властным уровнем (убеждения не должны играть никакой роли в выполнении вышеизданного распоряжения). Другой тип коммуникации ориентирован исключительно на личные (но столь же обязательные) убеждения, которые зависят не от действий (решений), но исключительно от общезначимых переживаний. Ведь истину в этом смысле невозможно «изготовить», сфабриковать, она стилизована под общее переживание, то есть реферирует к реальности внешнего мира, данному в общих ощущениях экспериментаторов и наблюдателей. Но что это означает применительно к обществу?

Вследствие вышеозначенной взаимодифференциации нормативных и когнитивных ожиданий возникает два сообщества⁴, или (что то же самое) два типа общения. Первое сообщество солидаризировано на основе общности действий, и его можно обозначить как политическую систему. Второе солидаризировано на основе общности переживаний, убеждений, и речь идет о коммуникативной системе науки. Собственно, одно можно назвать сообществом практиков, другое — сообществом теоретиков в том смысле, в каком так они были описаны Флорианом Знанецким [Бараш, 2013: 205—206].

Социально-теоретическая перспектива — наблюдательный приоритет?

Означенные сообщества — практиков и теоретиков — пристрастно относятся друг к другу. Так, наука долгое время понимала себя как сообщество свободных индивидов, принимающих коллективные демократические решения на основе некоей внешней или естественной принудительности, и выставляла себя как образец политического дискурса (сегодня такие представления все еще развиваются в рамках идеи коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса [Habermass, 1981]). Наука, таким образом, мнила себя образцом не только научного, но и некоего гражданско-политического дискурса (коммуникативной рациональности), который согласно Ю. Хабермасу, следует «высвободить» из-под влияния чуждых инструментальных медиумов так называемой системной рациональности (власти и денег). А сам язык коммуникации (и, как следствие, герменевтический метод) дает достаточно ресурсов для обеспечения консенсуса на основе коммуникативной рациональности.

⁴ Фактически и окончательно это, по мнению Н. Лумана происходит в XVII веке: «В 17-м столетии становилось все более явным, что ученые не приспособлены к застольной интеракции, в особенности, при дворе. Они демонстрировали чрезмерную ангажированность своим знанием; и поскольку это знание дано в форме цепи заключений, и одно влекло за собой другое, то у них отсутствовало, как предполагает Жак де Кэйер, требующееся внимание и восприимчивость к застольному настроению. Тем самым наука исключает себя из резерватов, в которых стратификация все еще имеет решающее значение, и тем в большей степени может теперь посвятить себя своим собственным задачам» [Луман, 2016: 164].

Итак, с одной стороны, наука должна научить политику быть демократичной, дать ей знание, научно обоснованную социальную теорию (теорию разделения властей, сдержек и противовесов, а сегодня — теорию государства всеобщего благоденствия, теорию справедливости, коммуникативной рациональности), на которую она может ориентироваться, и тогда политика (сообщество практиков) сможет коммуницировать как квазинаука.

С другой стороны, науке приходится «обороняться» (ведь она должна защитить себя от деятельностного воздействия политики) от того, чтобы в определении того, что является истинным, а что считается ложным, подчиняться действиям (решениям) политиков, пусть даже последние и обладают властью. Наука защищается от таких воздействий и именуется получаемый при подобном давлении теоретический продукт (теорию под принуждением) *идеологией*. Социальная или политическая теория, согласно этому взгляду, должна выступить в роли «свободно парящего» наблюдателя [Mannheim, 1964] (интеллигенция в интерпретации К. Маннгейма), поскольку у нее обнаруживается некая привилегированная позиция наблюдения. Она видит больше, чем политики, ангажированные собственными коммуникативными медиа — власти! В этом смысле за утверждениями политиков социальный теоретик якобы способен увидеть *не убеждения, индуцированные восприятием реальности*, то есть истину, а некую автономную волю к действию по реализации интереса. Ведь воля к действию и цели действия не обязаны быть дескриптивно связанными с реальностью, они самореференциальны и в этом смысле слабо сцеплены с их внешним миром. Социальный теоретик словно видит больше, поскольку ему открыта большая сравнительная перспектива: он может сравнивать и собственную наблюдательную перспективу (истинное познание), но в своей рефлексии политической системы он способен поставить себя и на место политика, использующего власть. Он рефлексиирует и классифицирует те средства, которые сами политики используют нерелексивно (и анализ Н. Макиавелли выступает здесь парадным примером). Политик в этом смысле словно не видит реальности, так как для него реальность — это исключительно его собственная воля, интерес и вытекающие из него цели действия, в то время как вызовы и импульсы из внешней реальности (других социальных систем, систем сознания, экологические вызовы) мотивируют его в гораздо меньшей степени, чем с распоряжения вышестоящих лиц, от которых зависят его карьера и благополучие.

Возражение к тезису о наблюдательном приоритете научной коммуникации

Этот казавшийся очевидным тезис о наблюдательном приоритете науки столкнулся с *практическими* и *теоретическими* трудностями. Прежде всего нужно было как-то разрешить *практический* парадокс, связанный с вопросом о наблюдательном приоритете: как наука может претендовать на приоритетное право в утверждении своих исключительных взглядов и наблюдений, если она представляет собой сообщество среди прочих равных, ценности которого («этос науки» в категориях Роберта Мертона) как раз и утверждают такое равенство. Причем солидарность внутри этого сообщества утверждается собственной исторической (т. е. контингентной) традицией. Утверждать свой наблюдательный приоритет означает

утверждать преимущества и прерогативы собственных членов, что противоречит демократическим убеждениям самого научного сообщества.

Впрочем, возникли и теоретические сложности, поскольку распалось двуединое представление о *продукте* и *функциях* теории, в том числе и теории социальной. Ранее, в соответствии с идеалами Просвещения, предполагалось, что ученые создают и аккумулируют истинное знание (не в последнюю очередь и об обществе) и одновременно на примере собственной деятельности предлагают образец общественного согласия (методологический консенсус в рационализме Декарта). Но как связаны эти две функции? Возникла фундаментальная дилемма в понимании целей теории: дилемма *истины/консенсуса* как продукта теории. Должна ли наука (в особенности социальная теория) находиться в блестящей изоляции (генерировать истину), или же также должна содействовать общественному согласию и прогрессу?

В процессе ответа на этот вопрос возникают две линии, или направления: «философии разрыва общества и науки» (А. Уайтхед, М. Вебер, П. Сорокин и др.), согласно которым наука должна сохранить свой статус выделенного наблюдателя, бесстрастного и, как следствие, безразличного в своих истинностных суждениях к ценностям остальных сообществ, и именно поэтому словно врач или судья способного «выписывать» обществу требующиеся рецепты. Отсюда девиз кембриджских ученых «Да здравствует чистая математика, и пусть она никому не пригодится».

С другой стороны, вполне четко обозначилась линия «философии континуальности общества и науки» (О. Нейрат, Дж. Дьюи, Б. Гессен, Н. Бухарин, Дж. Бернал), предполагавшая некую обратную причинность — подчинения науки некой общеобщественной функции. Так, Н. Бухарин ультимативно заявлял: «Всякая наука, какую ни возьми, вырастает из потребностей общества... Никто не подсчитывает числа мух на окне или воробьев на улице, а рогатый скот — считают» [Бухарин, 1928: 7]. (Этот континуалистский подход в интерпретации Б. Гессена, как известно, стал буквально откровением для социальной теории науки на Западе.)⁵

Либеральный аргумент в социальной теории

Именно в противовес тезису о континуальности науки и общества Р. Мертон и М. Полани формулируют известный либеральный тезис. Так, согласно Р. Мертону, наука как сообщество ученых ориентируется на особого рода «этос». Этос науки в своих нормах *негативно* (а значит, с полной противоположностью) «отражает» этос политики и власти. Означенное зеркальное отражение может быть сведено к ряду соответствующих дилемм:

- популизм в политике vs. рациональность в науке;
- вертикальный централизованный контроль vs. горизонтальные децентрализованные связи науки;
- партисипативность (патриотизм) vs. универсализм в науке;
- идеологизм в политике vs. организованный антискептицизм в науке;

⁵ «...Вместе с расцветом буржуазии, шел расцвет науки. Буржуазии для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства материальных тел и форму проявления сил природы. До этого времени наука была смиренной слугой церкви и ей не позволено было выходить за пределы, установленные верой. Буржуазия нуждалась в науке, и наука восстала против церкви вместе с буржуазией» [Гессен, 1932: 23].

- капитализм (политическая защита частной собственности) vs. коммунизм (открытое распределение результатов исследования) в науке;
- авторитаризм (назначаемый сверху авторитет) vs. репутация (плюрализм неназначенных авторитетов) [Merton, 1973: 267—278].

Но и здесь не обходится без некоего парадокса, поскольку либеральная интерпретация научной теории, доведенная до логического завершения, превращалась в свою противоположность — коммунитаризм. Ведь если деятельность ученого сообщества, регулируемая собственным этосом, подчинена априорным нормативным ограничениям, то чем же она отличается от активности других сообществ? Этос передается в традиции, имеет некое сакральное, или, по меньшей мере, ценностное (а значит — необсуждаемое) значение, так что должен быть выведен из-под критики самой науки. В этом смысле и наука представляет собой *сообщество ученых*, инклюзия в которое обставлена такими же жесткими ритуалами и инициациями, как и в любое другое.

Коммунитаризм (континуализм) или либерализм характеризует науку?

Итак, вопрос о коммунитарном (континуальном) или либеральном (дисконтинуальном) определении науки сохранял свое значение и не мог быть разрешен. При этом ни либеральный аргумент в понимании научной теории, ни континуалистское ее понимание не могли представить *эмпирического обоснования* своих утверждений. Ведь «коммунитарная» наука, которая практиковалась в Советской России и нацистской Германии, демонстрировала эмпирическую эффективность, вполне сопоставимую с достижениями западной науки, выстроенной на основе либеральной модели. Это отсутствие эмпирических аргументов в обосновании «правильных» моделей науки было не в последнюю очередь связано с тем, что три господствующие идеологии (коммунистическая, нацистская, либерально-западная) искали в науке собственную легитимацию и без труда ее находили. Другими словами, и некая чистая наука, понимаемая как автономная коммуникация ученых, и наука, поставленная на «службу общества», достигали примерно равной результативности. То есть предмет науки (истинное знание) в каком-то смысле оказывался независимым от актуального состояния общественной дифференциации.

«Спасти» либеральное понимание научной теории попытался М. Полани [Polanyi, 1946: 52—66]. С его точки зрения, ни предметное измерение теории (истинное знание), ни социальное измерение (общественное благоденствие как цель и следствие научного прогресса и в коммунитаристских или индивидуалистских версиях науки) не дают адекватного понимания специфики научной коммуникации. Первостепенное значение имеет исключительно ее временное измерение. Наука, по Полани, не допускает планирования, и в этом смысле высвобождена из-под давления внешнего социального окружения. Наука должна не формулировать истинное знание, но прежде всего предлагать новую истину взамен старой. Причем эта новизна не определяется ранее поставленной целью, а иначе это знание не было бы новым. В политике, напротив, реализуются *ранее поставленные* цели, для реализации которых требуется *бюрократический* аппарат с функцией контроля коллективно-обязательных решений по реализации этих целей.

Научное открытие же, по М. Полани, дефинитивно не допускает планирования и одновременно противоречит требованиям консенсуса. Этот аргумент временного своеобразия науки и рассогласованности ее организации с политическим планированием собственно и гарантировал науке ее автономный наблюдательный статус, универсальность принципов научного дискурса, которые могли бы применяться и *перениматься* в политической коммуникации. Тогда и политика, ориентированная на науку и сама выступающая как своего рода квазинаука, была бы беспристрастна в плане групповых и клановых интересов, *инструментальна, безлична, демонстрировала бы свободную от принуждения активность, была бы прозрачна в своих решениях*, давала бы исключительно *технические* решения, основанные на эмпирической реальности, а не на волюнтаризме. Но насколько реалистичны такие ожидания? Способна ли наука функционировать в качестве источника легитимации и образца публичной политической коммуникации? И действительно ли наука использует истинное знание как инструмент формирования убеждений? Способна ли власть ориентироваться не на волюнтаристски поставленные коллективные цели, а на социальную теорию, предлагающую некую истинную картину реальности?

Либеральный аргумент в ответе на эти вопросы можно считать сколько-нибудь валидным лишь до тех пор, пока истину понимают как почтальона, который получает корреспонденцию от природы, как некого отправителя сообщений, которую можно представить в виде высказываний (корреспондентская теория истины), пока истина понимается как средство отбора суждений, подтверждаемых на основе перцептивного (или методологически обеспеченного) доступа к реальности. Ситуация изменилась, когда стали ясны очертания «социального характера истины».

Социальный характер истины

В систематической форме социальный смысл истины представлен в «сильной программе» социологии знания Д. Блура и Б. Барнса и состоит в «возвращении» симметричности двум сторонам истины — истинности и ложности. Согласно этой программе, не только ложность знания оказывается следствием экспансии внешних факторов («социальных идолов» в смысле Фрэнсиса Бэкона). Истинность не является простой корреспонденцией от природы к высказыванию. Многие ключевые контroversы в научных дискуссиях (*корпускула/волна, живое/неживое* и др.) и выбор в пользу того или иного полюса определяются [Bloor, 1982] социальными и политическими настроениями и предпочтениями⁶.

С другой стороны, современная философия науки уже не считает науку неким образцом либерально устроенного сообщества, примером для других сообществ. Ведь приоритет в практике оценок научных достижений принадлежит не голосованию (в его функции генерирования консенсуса), а его функциональному аналогу — экспертизе. Но экспертиза устроена *нормативно*, решение принимается не публично, а на основании обладания неким «лучшим знанием», принадлежащим

⁶ «...В консервативной Франции эпохи второй Империи спонтанная генерация жизни, как бы преступавшая границу между живым и неживым, отвергалась как теологически предосудительная, политически опасная, и всякий раз, когда казалось, что жизнь появляется спонтанно из приготовленных в лаборатории неживых веществ, то (ради соответствия наблюдению) постулировалось, что неизвестные невидимые живые существа уже изначально присутствовали в этих веществах или же вторгались извне» [Bloor, 1982: 269—270].

немногим. В этом смысле наука выказывает черты, даже не традиционного, а скорее предтрадиционного общества, расслаивающегося по оси *знающих/незнающих*, допущенных тайне (которая открывается в результате серии инициаций) и не допущенных к ней [Antonovskiy, 2017: 37—48]. Но главное состоит в том, что наука не может претендовать на статус особого, автономного, выделенного наблюдателя, обеспечивающего обе функции одновременно: производство истинного знания и интеграцию окружающих сообществ, как это представлялось ранее — *социальная теория, описывая образцовое, идеальное общество, формулирует принципы социального порядка и этим легитимирует социальный порядок (функционализм Т. Парсонса)*.

В этом смысле научная теория, в частности социальная теория и научная рациональность, не способна занять место трансцендентальных оснований (фундамента) социального порядка, не может выступить в роле преемника бога, божественного права, вечной души, разума, трансцендентального субъекта, природы, и, наконец, нации — всего того, что в прошлом рассматривалось в функции гарантов социального порядка. В любом случае всякое утверждение противоположного тезиса сталкивалось с парадоксами.

Наука как фундамент общественного консенсуса: парадоксы К. Поппера и Р. Мертона

Понимание науки как выделенного из общества элитарного предприятия противоречит тезису об инклюдизации экспертов в научное сообщество и одновременной их эксклюдизации из остальных социальных систем. В вопросе о комплементарности истины и общесоциального консенсуса образовались две крайние точки зрения. У. Липпман [Липпман, 2004] и Г. Шельски [Шельски, 2005] провозглашают «эпоху экспертов» и технократов как дефинитивно несовместимую со сколь угодно глубокой эрудицией в частных областях все более дифференцирующейся науки. Тогда как Джон Дьюи [Dewey, 1946] (а сегодня — адепты и проponentы STS) утверждал, что массовое распространение знания, массовое образование, научпоп, научная журналистика предполагают популяризацию и внедрение в массовое сознание в том числе и достаточно сложных научных идей, и это существенно снижает роль специальной экспертизы в принятии общественно значимых решений. Промежуточную позицию занимает Э. Гидденс, провозгласив усиление социальной роли экспертов в обществе и *laupersons* в науке, поскольку знание подвергается диффузии в обоих направлениях, и говорить следует о некоей «двойной герменевтике». Э. Гидденс отмечал, что научные идеи, проникая в массы, получают там свою интерпретацию и в этой интерпретации обратным образом определяют научные интерпретации (по крайней мере, в социальной теории): социальный теоретик формулирует теории, которые в адаптивной форме транслируются в массы, а потом на основе социологических исследований повседневных представлений отражаются и в социальных теоретизациях [Giddens, 1976]. Но может ли такая связь служить фундаментом социальной интеграции?

Попытки зафиксировать связь между наукой и обществом (континуалистские версии социологии и философии науки) традиционно наталкивались на ряд парадоксов. Так, традиционно исследователи задавались вопросом о том, если

наука претендует на то, чтобы образовать консенсусный фундамент для общества, то она, прежде всего в своих фундаментальных антидогматических установках (К. Поппер), требует признания и того, что у общества вообще нет фундамента⁷. Отказ от догматизма через механизмы фальсификации требует релятивировать также и базовые ценности либерального общества: свободу, справедливость, равенство, демократию — так как в этом случае они не являются окончательными и безусловными. Но то, что для науки благо, для гражданского общества представляется как минимум чем-то дисфункциональным. Впрочем, не только либеральные аргументы, но и коммуитаристские версии науки столкнулись с теоретическими трудностями. Утверждение об универсальности научных (рациональных) установок и тезис о науке как коммуникативной модели для других сообществ противоречил идеи обособленности самой науки. Ведь если, согласно, к примеру, парадигме Р. Мертон, предположить, что наука есть отдельное свободное сообщество наряду с другими, то это требует признания локальности, контингентности и историчности науки. И действительно, наука в современном ее понимании появляется лишь в Новое время и только в Европе. Соответственно, и все коммуникативные основания ее функционирования — способы отбора членов сообщества и отклонения членства (ученые советы, принципы работы редколлегий журналов), весь ее так называемый «организованный скептицизм», который так импонирует Р. Мертону, все это является всего лишь в высшей степени невероятными и локальными историческими формами коммуникации. «Универсализм науки в этом смысле не может быть универсальным», а является социальной нормой. И всеобщий «организованный скептицизм» есть всего лишь исторически возникшая норма конкретного сообщества, и поэтому не может быть распространена в той же форме на другие, столь же нормативно-своеобычные сообщества.

В этом смысле наука совмещает в себе и когнитивную, и нормативную наблюдательную перспективу: с одной стороны, нормативно трансформируется и учится в ответ на разочаровывающие обстоятельства, с другой стороны, некоторые свои установки (критицизм, коллективизм, демократизм) утверждает с категоричностью, достойной, а то и превосходящей строгость и нормативность политической и правовой систем. Эта когнитивно-нормативная бинарность особым образом проявляется и в социальной теории. Последняя предстает в этом смысле как постоянная осциллирующая между описанием своего предмета (нормативно организованным обществом) и самоописанием (исследованием своих собственных когнитивных установок). Иными словами, социальная теория — это сравнительные исследования функций истины и функций власти как функциональных эквивален-

⁷ Классические идеалы научной рациональности требовали поисков некоей самоочевидной достоверности. Но ведь утверждение об абсолютной достоверности знания привносит и опасности идеологического догматизма. Карл Поппер предложил разрешение означенной дилеммы — уйти от догматизма, но сохранить научную строгость, возможность трансляции истины от одного высказывания к другому посредством логической операции *modus tollens*, формулировать смелые и рискованные гипотезы и искать ошибки. Ложность как обратная сторона истинности вызывает здесь функции рефлексивности, поскольку ее констатация явным и неявным образом указывает и на область истинного, сужая ее за счет исключения ложных высказываний, а тем самым уменьшая познавательную неопределенность. Но если интерполировать максимум «формулируй рискованные (противоречащие консенсусу) гипотезы» в реестр общественных императивов и ценностей, то релятивируется сам фундамент общественного устройства, а значит — и сами базовые демократические основания общества не могут быть окончательными, но должны допускать и даже предполагать их конечную фальсификацию.

тов для общественной интеграции. Такие сравнительные исследования действительно производятся в рамках теории социальных систем.

Вместо заключения. Истина и власть как ориентиры коммуникативных систем: российская перспектива

Резюмируя все вышесказанное, подчеркнем ряд выводов об истине и власти как ориентирах научной и политической коммуникативных систем [Луман, 2016]. Если истина и власть представляют собой функциональные эквиваленты обеспечения единства сообществ, то у них должны быть общие свойства. Среди такого рода общих свойств Никлас Луман выделяет ряд универсальных медиальных функций, характеризующих как науку, так и другие системы.

Инфляция/дефляция: инфляция власти предстает как преувеличенная (преуменьшенная) вера в возможности лидеров и институтов, инфляция истины манифестируется в гипертрофированной вере в возможности науки.

Симбиоз символического характера коммуникативных символов (истины и власти) и телесного удостоверения их абстрактности⁸ (соответственно через физиологически опосредованное *восприятие* в науке и путем *насилия* в политике).

Опора на авторитет (власть) и репутацию (истина) как своего рода технику разгрузки исследований в науке или обеспечения решений власть имущих. Не нужно проверять, действительно ли полицейский способен доставить нас в участок или применить спецсредства: авторитета полиции, формы и знаков отличий будет достаточно, чтобы убедить деликвента. Для доказательства валидности, научности, в конечном счете — истинности текста не нужно каждый раз проводить реконструкцию доказательств и воспроизводить обосновывающие эксперименты и аргументы: одного имени ученого, имеющего репутацию, под статьей будет достаточно для акцептации ее в научной коммуникации (публикации в журнале и обсуждения).

Эти свойства в контексте изложенных выше дискуссий и контроверз помогут нам в характеристике состояния науки (и социальной теории, в частности) в России. К исследованию состояния российской науки применима скорее континуалистская (коммунитаристская) или же либеральная интерпретация? Ответ на вопрос об экстерналистских амбициях российской науки и социального теоретизирования представляется очевидным. Современная социальная теория в России никак не привлекается для обоснования реформирования политического дискурса. Столь же очевидным выглядит и ответ на означенную выше дилемму государственного *планирования (бюрократизма) vs. принципы свободного открытия*. Наука в России предельно забюрократизирована, от нее требуют планов на годы вперед, составляемых абсолютно волюнтаристски. По этим планам формируют так называемое *госзадание*, параметры выполнения которого, в свою очередь, никак не корреспондирует (и не контролируются) с заявленными расчетами.

Применительно к дилемме *инфляция vs. дефляция* в отношении российской действительности мы сталкиваемся с явной дефляцией научной истины. От социальной теории в современной российской действительности никто не ждет

⁸ Власть всегда сохраняет некую абстрактность и чистую символичность, пока деликвент не столкнется с ее реальным проявлением в виде насилия.

великих достижений и комплексных подходов. В свою очередь ожидания российских ученых от возможностей власти чрезмерно завышены (что фактически представляет собой инфляцию).

В том, что касается связки *авторитета и репутации* ученых, можно сделать вывод о минимальном значении научной репутации российских ученых при оценке теоретических достижений через систему предоставления субсидий и грантов. Напротив, принцип инклюзии в научное сообщество, выделение финансирования регулируется на основе фактической власти директоров НИИ, ректоров и деканов, то есть на основании административных решений. Логичным в этой связи является вывод о том, что *научная коммуникация в России не может служить образцом для политического дискурса*. Ситуация прямо противоположная. Коммуникационная структура российской науки является не негативным (по Р. Мертону), но зеркальным отражением политического устройства страны.

Список литературы (References)

Бараш Р. Э. Роберт Кинг Мертон и Флориан Знанецкий о людях знания и людях действия // Эпистемология & Философия науки. Т. XXXVII. 2013. № 3. С. 205—206.

Бухарин Н. Теория исторического материализма. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928.

Гессен Б. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.; Л.: Гос. теорет.-техн. изд-во, 1932.

Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». 2004.

Луман Н. Истина. Знание. Наука как система / пер. с нем. и предисл. А. Ю. Антоновского. М.: Логос. 2016.

Шельски Г. Человек в научной цивилизации // Политическая философия в Германии. М.: Современные тетради. 2005. С. 210—236.

Antonovski A. (2017) Technologies of the electoral process: A field study of the possibility of informative communication. *Russian Studies in Philosophy*. 2017. Vol. 55. No. 1. P. 37—48.

Bloor D. (1982) Durkheim and Mauss revisited: Classification and the sociology of knowledge. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*. Vol. 13. No 4. P. 267—297.

Détienne M. (1979) *Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*. Paris: François Maspero 1967.

Dewey J. (1946) *The Problems of Men*. New York: Philosophical Library.

Elkana Y. (1986) *Anthropologie der Erkenntnis: die Entwicklung des Wissens als episches Theater einer listigen Vernunft*. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Giddens A. (1976) *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. New York: Basic Books, Inc.

Habermas J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns — Band I: Handlungs-rationalität und gesell. Rationalisierung Band II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.

Lloyd G. E.R. (1979) Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Mannheim K. (1964) Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk einged. u. hrsg. von Kurt H. Wolf // Soziologische Texte. Hrsg. von H. Maus u. F. Fürstenberg. Bd. 28. Berlin und Neuwied: Luchterhand.

Merton R. K. (1973) The Normative Structure of Science. In: Merton R. The Sociology of Science. Chicago: University of Chicago Press. P. 267—278.

Polanyi M. (1946) Science, Faith, and Society. Chicago: University of Chicago Press.